

Может ли философия испытывать фантомные боли?

Неретина С.С.

Аннотация: тема философской травмы сопряжено со слабым знанием философии, рожденной в Советском Союзе. Анализ «Философии социализма» А.А.Любичева показывает, что была философия, противостоящая официальной марксистско-ленинской и породившая такую форму своей представленности, как псевдоименность. Псевдоименность оказалась принципом философии 20-х — 80-х годов XX в., без анализа которой ее понимание не просто затруднено, но вызывает болезненно-декадентское к ней отношение.

Ключевые слова: фантомная боль, травма, псевдоименность, структурализм, диалог, гуманитарное мышление, презумпция невиновности, месть, дар.

Тема травмы для философии, нанесенной советской властью, в свете углубляющегося авторитаризма, становится весьма актуальной. Но травма, однако, психоаналитическое понятие. Чтобы от нее избавиться, нужно правильно соотнести события, возникшие в результате травмы, и его причины, результатом которых является длительный распад связи времен.

В философии травма связана, на мой взгляд, во-первых, с потерей ориентиров, на выработанную внутри философии, развившейся в СССР, гуманитарность, во-вторых, с утратой естественно-научных оснований, связанной с жесточайшей критикой (в свое время) теории относительности и квантовой механики, в-третьих, с ликвидацией самих ликвидаторов, после чего осталась опора на некую безошибочную научную теорию, поддержанную философией.

Можно, однако, заметить, что многие великие философы начинали с того, что объявляли свою философию безошибочной (достаточно вспомнить Декарта). Но они это делали по собственной воле без насадного окрика власти, и их оппоненты тоже возникали сами по себе, выставляя свои претензии, заодно перекапывая всю философию, достигая новых начал. Там, где был властный окрик, как это было в 1277 г., когда Стефан Тампье выставил вон аристотеликов-аверроистов с факультета искусств, и они исчезли бесследно, это вызвало ответную могучую реакцию ренессансных мыслителей. Философия между тем по своей природе предполагает ошибочность рассуждения. *Fallog ergo sum*, ошибаюсь, следовательно, существую, говорил Августин. А – условно говоря – вслед за ним К.Поппер строит свою теорию фаллибилизма.

Философия, как и любая научная теория, предполагает постоянную деформацию, даже коррупцию (использую это модное ныне слово) собственной мысли, ибо, обращаясь к началам, я не знаю, что именно я там обнаружу. Эту четвертую травму я могу связать с утратой «что», утратой дотошного вопрошания не только сущности вещи (когда-то «что-*quid*» превратилось в «*quidditas*-чтойность»), но чего-то постоянно ускользающего. «Что» - слово, которого нет ни в одной философской энциклопедии в отличие от «ничто», которым они забиты. Да и что это такое - «что», если оно не «чтойность»? – Некое местоимение, союз, союзное слово или наречие, оно выполняет много разных функций, даже замещает «как» («материнский гнев – что весенний снег»). Это пустое слово само по себе, которое меняет свои значения, употребляясь с приставками или союзами (что-либо), местоимениями (кое, какое) и пр. «Что» - это сама взывающая к пониманию открытость мира, того или этого, исчезновение которого из философского словаря нанесло философии жесточайшую травму, особенно с момента, когда его заменили местоимением «кто» как носителя авторитетного взгляда. Это целое без частей, гораздо более целое, чем ничто, не подходило для советской жестко-идеологической системы, которая – и это пятое - породила инфляцию слов, показав бесконечные возможности бес- и не-словесности. Сокращения высказываний до буквенных обозначений: ФОН (факультет общественных наук), ГПУ, НКВД обнаруживают желание скрыть суть, упростить, лишить смысла. Слово «комсомол» («коммунистический союз молодежи») лишило смысла термин «коммуникация», в основе которого лежит «*munus*», как дар друг другу.

Моя тема связана в основном с публикацией в «Философском журнале» работы С.Н.Корсакова «Политические репрессии в Институте философии (1930 – 1940-е гг.)», сопровождающейся списком репрессированных – расстрелянных, переживших арест, заключение в лагеря, умерших в заключении философов или доживших до реабилитации. Эта сама по себе подвижническая работа рождает глубочайшее почтение и благодарность. Она к тому же содержит очередной призыв, требующий поддержки в наше смутное время, усугубленное быстрым забвением событий первой половины XX в., разобраться и в прошлом и в нынешнем положении, когда, подчеркну, *общество как таковое* подвергается остракизму со стороны власти. Я уж не говорю о философии, которой недовольны и власть, и общество, особенно со стороны молодых людей, критическая запальчивость которых часто выше их же аналитических и творческих возможностей. Это недовольство выражается подчас вовсе нефилософскими методами: скандалами, направленными как против отдельных философов, так и против профессионального сообщества в целом.

Термин «скандал», многократно возникавший за последнюю четверть века, требует своего анализа. Конечно, скандал связан и с реальной и с фантомной болью,

вызывая быструю или замедленную реакцию. Но если «соблазн» (одно из его значений) можно отнести по разряду психологии, то «преткновение» (другое значение), могущее быть чисто физическим, относится уже и к области метафизического: столкновение мыслей или не-мысли с мыслью, вызвавшей нарушение скорости, удивление или испуг, обнаруживает *меру* изменившихся обстоятельств. Существенно то, что многие, недовольные этой мерой, либо вообще перестают философствовать, либо включаются в философствование по старому образцу, задавая вопросы бытию, миру, сущему, прописывая с разных сторон некие проблемы, уже *ставившиеся* известными мыслителями нередко без возможности оставить собственный след, то есть уподобиться тем, против которых направляли свое скандальное остроумие.

Чем они были недовольны? Чаще всего проблематикой и тематикой нудной и скучной дисциплины, называемой «философией», какую обнаружили в послесоветском ВУЗе. Нашли чем удивить! Можно подумать, что люди были настолько тупы, что не понимали «скуки с больным сидеть и день, и ночь». Умные понимали, многие из них хотели к тому же сохранить собственную жизнь и/или жизнь семьи. Можно возразить, что в 90-е годы XX в. можно было и перестроиться. Некоторые перестраивались, и это сравнимо с тем, о чем писал Корсаков: преподаватели научного коммунизма становились преподавателями культурологии, оскорбив ее создателей, уникальных мыслителей, в частности претерпевшего гонения в пору травли «космополитов» (читай: евреев) В.С.Библера или исключенного из КПСС М.К.Петрова. Нефилософская жажда мести заслонила не только их, но и М.М.Бахтина, которого первым из советского времени узнала мировая философия (один молодой человек в начале 2000-х со скукой писал: и опять три «Б», Библер, Бахтин, Бубер). Это можно объяснить двумя факторами: болезнью левизны, развитой в революционные ситуации, и быстрым расколом старой коммуникативной системы, нацеленной не на культуру (ее философию, теорию, историю), а на индивидуальный прорыв.

Философия, по мысли С.Н.Корсакова, обречена на независимость критической мысли и свободу личности, с одной стороны, «на поиск новых вариантов осмысления мира и обустройства в нем человека», с другой, и на неприятие властей и ограниченных, не философски мыслящих людей, с третьей¹. Его вывод, вытекающий из оснований такой обреченности, таков: «В условиях диктата свободная мысль философа сама по себе уже составляет преступление, поскольку заведомо не вписывается в систему господства и подчинения. *Тогда философская мысль по определению оказывается политическим преступлением*» (с.121).

1 Корсаков С.Н. Политические репрессии в Институте философии (1930 – 1940-е гг.) // Философский журнал. 2012. №1 (8). С.120. Далее ссылки на страницы этого издания внутри текста. Курсив в цитатах мой.

Правда, тут же возникает ряд вопросов: можно ли называть 1920-е годы «временем *духовной* свободы», если эта свобода «не распространялась на *религиозных* философов» (с.121), то есть как раз на тех, для кого свобода духа была делом философии. Да и так ли воспринимали это время работавшие в то время философы? А.Ф.Лосев в письме Л.Н.Столовичу от 30 марта 1968 г. писал: «Я думаю, Вам небезызвестно, что в молодости, *когда еще оставалась некоторая возможность печатать труды по эстетике символизма я успел* напечатать несколько больших книг из этой области как теоретического, так и историко-философского характера». Далее перечисляется несколько книг, вышедших в 1927 г. и 1930 г., в том числе «Философия имени», «Диалектика художественной формы» и «Античный космос и современная наука»².

О подавлении философии в России писали многие, в том числе А.П.Огурцов в книге «Подвластная наука? Наука и советская власть». Ю.И.Левин говорил о «традиционной слабости философской мысли в России» и об «упразднении философии в 1922 – 23 годах с заменой ее марксизмом»³, который очевидно в 90-е годы XX в. воспринимался не как философия, а как идеология, выработавшая у многих интеллектуалов аллергию на философию вообще. Имеет ли объяснительную силу утверждение, что «свободы без рамок и ограничений не было пока еще в истории»: не пугает ли в этом случае автор свободную мысль, не нуждающуюся в разрешении властей, с либеральными свободами - слова, мысли, печати? Какое философское преступление совершили те философы, чья мысль поддерживала диктатуру и даже выполняла функции диктаторской власти, о чем упоминает и Корсаков? Как пишет сам автор, людей репрессировали за пренебрежительную оценку Сталину или за подозрение такой оценки, то есть *не* за философскую деятельность.

Очевидно, что философы испытали на себе действие репрессивного аппарата, но не как философы, а как *все другие профессии, как все другие классы и слои общества*. Этот репрессивный аппарат действовал от имени народа, и он, этот аппарат, действительно был рожден народом. Объяснения по поводу того, что все подвергались репрессиям по воле «кремлевского изувера», справедливы, но недостаточны, поскольку эту волю необходимо было поддерживать. И недавний крепостной народ добровольно поддерживал свою кандидатуру на диктаторском троне, да и строй назывался диктатурой.

Если внимательно посмотреть список *репрессированных* философов, то его можно условно разделить на четыре части: 1. философы, занимавшиеся а) психологией,

2 См.: *Столович Л.Н.* Воспоминания о Юрии Михайловиче Лотмане. Структурализм с человеческим лицом // Семь искусств. 2012. № 1 (26). С.8. <http://www.7iskusstv.com/2012/Nomer1>. Последнее посещение 6.05.2013. Курсив мой.

3 *Левин Ю.М.* «За здоровье ее величества!...» // Новое литературное обозрение. 1993. № 3. С. 43.

экономикой, философией права, философией религии и культуры, философской библиографией, первобытным мышлением, античной и современной философией, американским неореализмом, бихевиоризмом, методикой преподавания философии, психоанализом, эстетикой, б) философией естествознания, социологией техники, математической логикой,- вытравлялись те основания – и гуманитарные, и естественнонаучные, о которых упоминалось выше; 2. среди них были философы, а) занимавшиеся конкретными проблемами, - теорией познания Аристотеля, Локка и Канта, Гольбаха, Гумпловича, Омара Хайяма, Спинозы, Демокрита, Лейбница, философией революционных демократов, б) переводами Декарта и Спинозы, Дидро, Макиавелли, Вико, французских социологов (Тарда, Дюркгейма, Леви-Брюля) – то есть вычищались те темы и проблемы, которыми ныне заняты сотрудники, скажем, Института философии РАН или ГОУ-ВШЭ; 3. философы, разрабатывавшие проблемы марксизма-ленинизма, диамата, истмата, диалектику количества и качества, философию вульгарных материалистов, механистов, младо- и неогегельянцев, те, кто создавал положительный образ советской философии, историю анархизма, ленинские сборники, кто был занят критикой идеологий социал-демократии; 4. секретари компартий и партработники, участники оппозиционных групп, партработники, министры, борцы против так называемой философии Г. Ф. Александрова или М.Б.Митина. Это значит: «своя своих побиваху», и все вместе это значит не впадение ума через пытлиное исследование в пустоту бытия, а сознательное создание этой пустоты, из которой выбраться почти невозможно. Оставались тени философии или носители идеологии. Можно только преклониться перед теньями, подхватившими из опавших рук, возможно, и непосильную ношу. Фантомность здесь очевидна.

Корсаков проделал кропотливую и тщательную работу - с перечнем жизненных вех и перипетий. Эта работа к тому же показала, что (за исключением подонков, которые почему-то всегда обнаруживаются в любом месте и времени и тем более нуждаются в реабилитации, чтобы можно было прямо сказать, кто они такие) репрессированные философы и темы их работ, а равно их исполнение позволяет относиться к ним в высшей степени уважительно. Достаточно назвать имена И.И.Агола, С.Г.Левита, Я.Э.Стэна, О.М.Танхилевич, П.А.Флоренского, Г.Г.Шпета (первого директора научной философии МГУ), чтобы понять: был погублен цвет философии. Но следующие, те, у кого училось уже послевоенное поколение философов, только ли фантомные боли они вызывали? Скорее, просто боль и человеческое понимание, кроме, разумеется, доносчиков и подлецов.

Видимо, этим человеческим сочувствием и пониманием вызваны слова Корсакова о том, что «философ не может только лишь мыслить». Ибо на деле мыслить - это *specifica differentia* философа. К тому же, как быть с теми не-философами, которые стали

философствовать как раз в пору диктата? Были такие репрессированные или замолчанные ученые, которые в ссылке или лагере, не будучи в состоянии заниматься своей наукой, обратились именно к философии, и те, у кого обнаружился философский склад ума?

Достаточно назвать такие имена, как Д.Д.Мордухай-Болтовской, родившийся в 1876 г. и умерший в 1952 г. в Ростове-на-Дону (его учениками были математик М.Я.Выгодский и А.И.Солженицын), который, помимо математических, написал весьма интересные работы, в частности по медиевистике, изданные в книге «Философия. Психология. Математика» (1998), как расстрелянный общественный деятель князь Д.И.Шаховской (1861 – 1939), член «братства» В.И.Вернадского, кадет, литератор, историк русской философии, публиковавший и комментировавший труды своего двоюродного деда П.Я.Чаадаева, как В.П.Зубов (1900 - 1963), невольно переключившийся с занятий архитектурой на историю и философию науки, как неоднократно репрессированный генетик В.П.Эфроимсон, поставивший перед собой вопрос о том, что такое гений, как репрессированные представители теории направленной эволюции Б.С.Кузин (1903 – 1975), П.Г.Светлов (1892 – 1976), друг семьи Мандельштамов, и как энтомолог, специалист по жукам-листоедам, «диалектический идеалист» А.А.Любищев (1890 - 1972), философическая переписка которых была опубликована в 1986 г. в ж. «Природа». Сам А.А.Любищев написал в 1962 – 1963 гг. книгу «Линии Демокрита и Платона в истории культуры», а в 50-е годы работу «Философия социализма». Она вышла в 2008 г. в Ульяновске тиражом в 150 экземпляров.

Все эти люди вернулись к плодотворной жизни во второй половине XX в., хотя их философские работы были изданы после их смерти и сейчас по какой-то временной каверзе не то чтобы забыты, но, скажем осторожно, их помнят те, чья жизнь на излете. Почему это случилось, что в одночасье все, что составляет тезаурус эпохи, оказалось преданным забвению?

О.Розеншток-Хюсси в свое время полагал, что в кризисные периоды войн и революций (а мы переживаем именно такой период) общество поражает анархия и декаданс, относящиеся не к опыту перемен, а к опыту катастроф, в которых человек учится выживать. Это время можно охарактеризовать как время отсутствия речи, поскольку в катастрофе теряют силу старые традиции. Здесь не только происходит захват мира, но и потеря обретенного опыта. И даже если находятся люди, передающие нечто из прошлой традиции, то или а) их слова лишены силы убеждения, или б) их слова лишены вообще какой-либо силы, поскольку отсутствует сам предмет разговора.

Тем не менее, я хотела бы рассказать о «Философии социализма» Любищева именно потому, что она написана в эпоху расцвета социализма, правда, уже переставшего

на время сажать философов. В этом труде поражает удивительная ясность взглядов с наивностью их изложения, делающей эти взгляды еще более четкими.

В 1952 г. Любищев пишет, что описания последовательной системы философии социализма нет, и ее необходимо создать в силу следующих обстоятельств: а) Маркс, Энгельс, Ленин только еще собирались ее написать, у Сталина работы слишком краткие (это, напомним, написано еще при жизни Сталина), б) с 1917 г. многое (в том числе взгляды) изменилось, в) многие биологические теории вступают в конфликт с социалистическими взглядами, поскольку многие положения дарвинизма не ясны (указать на это важно в свете того, что социалистическое учение базируется на материализме), г) центральная трудность – это проблема жизни, а потому надо четко отделить выводы витализма и механицизма (у Любищева – «механизма») от выводов диалектического материализма.

Под социализмом Любищев понимает не только ликвидацию частной собственности на средства производства, но и ликвидацию аппарата принуждения, то есть тюрем, и ликвидацию угнетения человека государством. Положение, сложившееся к тому времени, когда Любищев озадачился основами социализма, он оценивает, опираясь на высказывание Сталина, относящееся к началу 1930-х г., что строй, не обеспечивающий высокого уровня культуры, «может считаться карикатурой на социализм, а никак не социализмом»⁴.

Любищев был блестящим ученым и отнюдь не наивным человеком. Его стиль – намеренная ирония. Для того времени почти невозможно было представить, чтобы кто-то мог откровенно заявить, что ленинский «Материализм и эмпириокритицизм», цитата из которого взята эпиграфом для книги, есть «следствие его (Ленина) антирелигиозного фанатизма» (с.11). Ленин, по словам Любищева, очень ценил таких философов, как Луначарский и Покровский. Любищева, писавшего о линиях Демокрита и Платона, трудно заподозрить в том, что он не знал *differentia specifica* этих философов. Но Любищев не только иронизирует над возвеличиванием имен тех, кто к философии имеет странное отношение, но и перечисляет ошибки Ленина, среди которых числит именно высокую оценку школы Покровского и негативную оценку старой школы Клаузевица: «представление о двух лагерях по линии философии не выдерживает критики» (с. 12), ошибки Маркса (например, в оценке Леверье, с.28), пишет о том, что революционный демократ Чернышевский глумился над Лобачевским (с.34). Несколько страниц направлено против расизма (антисемитизма). И главное, припечатал, что «классовая наука – научная опричнина» (с.36), радуясь, что «сейчас уже отошли от троглодитного понимания, что вся наука в классовом обществе классовая» (там же). В 1955 г. Любищев

4 Любищев А.А. Философия социализма. Философские письма. Ульяновск, 2008. С. 11. Далее ссылки на это произведение в скобках внутри текста.

добавляет, что речь идет именно о социализме, потому что «существующие определения коммунизма не годятся» в принципе (с.13).

Необходимость развития философии социализма, считает Любищев, вызвана желанием показать, что «селекционизм и материализм являются подлинно мракобесными учениями по признакам: нелепого догматизма, закрытия дверей ряду областей науки, отвратительными выводами из учения» (с.29). Любищев прямо ссылается на Сталина, полагая неверным его «утверждение, что идеализм оспаривает возможность познания мира и его закономерностей, не верит в достоверность наших знаний, не признает объективной истины». Он анализирует признанное понимание абсолютной и относительной истин, считая это явной путаницей. «Объективная истина, - пишет он, - доступна человечеству: объективность и означает, что всякое разумное существо пришло бы к тем же выводам, что и мы. Абсолютность же означает полную достоверность, точность и полноту». Но «наши утверждения всегда в той или иной мере отклоняются от абсолютной истины, которая является понятием асимптотическим» (с.23) и т.д. Он считает, что Энгельс недостаточно диалектичен (с.24), что истинная диалектика – это пробабилизм против аподиктизма, и именно в недооценке правдоподобия сравниваемых теорий заключается ошибка махистов, а не в недоказуемости любых теорий (с.24), ибо «ценность диалектического духа» заключается в области духа, в воззрениях, подлежащих проверке делом, а не в боязни уступки «лукавому разуму» (с. 28).

Подчеркнем: в 1952 г., то есть еще при жизни Сталина, когда еще не утихла антисемитская компания, Любищев пишет, «что в современном советском марксизме начинает образовываться настоящая поповщина: большевизм имел в начале все хорошие и плохие качества религии: хорошие: превосходная программа по освобождению человечества, вера в возможность осуществления этой программы (оргористия), готовность к самопожертвованию и огромный всепоглощающий труд. Были и недостатки: энтузиазм переходил в фанатизм, нетерпимость, нежелание разобрать доводы противоположной стороны, осуществление на практике положения об оправдании верой: использование людей “надежных”, независимо от их нравственных и умственных качеств, отчего в революцию проникло немало сволочи, с которой вожди нещадно боролись». Была создана «неслыханная по своей строгости цензура». Мораль же общества вообще «внушает опасения»: а «можно ли с такой моралью построить коммунизм». И ведь, однако, продолжает он, «держатся за материалистические догматы, объявляя идеализмом материалистические учения (например, морганизм)» (с. 14 - 15).

Система догматов, по мнению Любищева, не поддается критике, преподаватели – «попы марксизма» - образуют непогрешимую церковь. Произошла «изоляция от всех инакомыслящих, изъятие всех неудобных книг из библиотек вместо свободного

критического их разбора», преследование за грех отцов и лицемерие будто живут по конституции (с.15).

В 1953 г. Любищев последовательно анализирует основной метод социалистической философии – диалектический, который должен заключать «в себе тщательное продумывание всех доводов про и контра», однако «блестящий пример» такой диалектики он находит в философии не Гегеля, не Ленина-Сталина, а Платона. Смысл диалектики в одновременности существования разных воззрений. Даже если обе стороны согласились в чем-то, это еще не абсолютная истина. Из этого следует один из важных принципов, которые должны использоваться в судебно-правовой системе: «добровольное признание даже в тяжелой вине еще не означает безусловной правильности наказания» – то, что сейчас называется *презумпцией невиновности*.

Еще раз подчеркнем: то, о чем пишет Любищев, он пишет по собственной воле, совершая – в терминологии Корсакова – политическое преступление. Сам Любищев понимал меру принятой им на себя ответственности. Его очевидно интересовали проходившие и проходящие процессы над «врагами народа» и не менее очевидно, что его интересовали признания обвиняемых в самых непостижимых грехах (в предательстве, убийствах, в принадлежности к партиям, участия в которых не принимал и пр.). Размышляя над этим, он посчитал следствием отсутствия презумпции невиновности *сумасшествие или месть*. Как биолог, он знал, что такое сумасшествие. *И сумасшествие, и месть часто являются результатом признания несовершенной вины*. Пример, им приведенный, взят из истории обычаев. Он пишет, что в Японии существует такой обычай мести, когда желающий отомстить кончает самоубийством на пороге дома своего врага (с. 16). Желание отомстить (добавим: вкупе с невозможностью сопротивления из-за пыток) во многом объясняет практику признания вины огромным большинством репрессированных. По логике Любищева, признавшиеся в своей вине могли признавать своих мучителей, то есть Сталина и К⁰, за врагов.

Сейчас, анализируя это время и не понимая размаха признаний вины, от размышлений Любищева нельзя отмахнуться, поскольку они обладают *объяснительной* силой. И эта сила исходит из той самой утраченной гуманитарности, о которой мы говорили выше. Но вместе с тем это признание существования *анти-языка*: признавшись, «враги народа» иносказательно объявляли врагами народа власть и суд, возможно, надеясь на понимание и используя слова в противоположных значениях. И эта боль непонимания не утихает до сих пор.

Ж.д'Онт в биографии Гегеля, пересказывая надгробные речи, произнесенные на его похоронах, написал, что эти речи, на наш слух не содержащие ничего необычного, на слух людей того времени казались, по меньшей мере, странными, едва ли не

сомнительными⁵. Со временем утрачивается некий злободневный смысл событий. Не исключено, что многие знали о японском или более близком России способе мести (о чем-то похожем писал Монтень в «Опытах», рассказывая о поведении детей), однако сейчас часто признательные показания вызывают недоумение, объясняемое либо физически (пытки), либо идеологически (нежеланием компрометировать партию). В любом случае налицо ситуативное переименование, своего рода замещение имен, называние – в случае осуждения невинных – правым неправое, справедливым несправедливое, гуманным бесчеловечное – это своего рода загадки, притчи, свойством которых является именно представления одного, а подразумевание другого. Это своего рода «придорожные изречения», а то и «подорожные», если применить к такого рода судилищам религиозный термин. Но лучше это определить через псевдоименность, через ложные имена, что определило будущее гуманитарное существование страны.

Что, однако, любопытно: в то время те немногие, что читали Любичева, читали все эти принципы с интересом, но и с внутренней и внешней иронией, подсмеиваясь - не над Любичевым, конечно, а - над всей современной им ситуацией. В наше время эти принципы, однако, и не знают, и не читают. Многие отнюдь не мелкие философы всего мира занимались выяснением того, что такое социализм. Первая половина Пятидесятых знаменовала собой увлечение марксизмом (у Альтюссера он не пропал до конца жизни). Вступил в коммунистическую партию Мишель Фуко, вступил Пикассо (другое дело, что скоро и вышли – Венгерские события отрезвили). Но до конца Шестидесятых интерес к марксизму и социализму не угасал, была даже попытка построить социализм «с человеческим лицом». У нас в конце Пятидесятых и примерно до середины Шестидесятых годов XX в. среди интеллигентов в основном господствовал романтизм: желание – похожее на то, что было во времена Реформации - вернуться к основаниям, к началам революции с ее героем Лениным и гражданской войны с «комиссарами в пыльных шлемах». После процессов над Бродским, Синявским и Даниэлем и особенно после вторжения в Чехословакию возникло либо искреннее или циничное соглашательство с коммунистическими идеями в деле построения мира и социализма, либо уже полное, полнейшее диссидентско-аутсайдерское его неприятие: профессионалы ушли в домашние семинары, поскольку институтские были закрыты, а диссиденты или эмигрировали, или готовились к отсидке в лагере, ибо подписывали письма в защиту кого-либо из репрессированных, а также против некоторых акций, уготовленных правительством. Время от времени открывался какой-нибудь шлюз, и тогда А.М.Пятигорский, Вяч.Вс.Иванов, Ю.М.Лотман, М.К.Петров, М.К.Мамардашвили, В.С.Библер собирали громадные аудитории интеллигентов. Это время породил или

5 *Онт Ж. де.* Гегель. Биография. М., 2012. С.18 – 19.

словно бы вспомнило своеобразную форму псевдонимности, до сих пор не ставшую предметом исследования. Но если довоенная и послевоенная псевдонимность была ответом на расстрельные репрессии, то возникшая новая – тоже ответом на репрессивную политику, хотя и менее кровавую.

В «Философии одного переулка» Пятигорский попытался это описать, но и многие участники гуманитарно-философского процесса в этом участвовали. Печатались под псевдонимом и за рубежом, и в советских изданиях, главным образом, в ИНИОНовских реферативных сборниках и энциклопедиях: Л.Б.Туманова под фамилией Неретина, В.В.Бибихин под фамилией Вениаминов, М.К.Петров подписывался именем своей дочери Татьяны Михайловны Петровой. У многих из нас обнаруживались еврейские родственники, присылавшие нам «вызовы». Нынешние «ники» в Интернете, совпадающие с этим внешне, на деле имеют те же скрытые основания. Только тогда скрывались от органов власти, сейчас от нежелания открываться другому, но с неувыдаемым желанием выразить свое мнение; от вовлеченности в коммуникацию подчас без возможности или без желания услышать ответ, из страсти заявить о себе (что скорее напоминает ситуацию гоголевских Добчинского-Бобчинского: пусть-де государь узнает).

Но те, кто писал в СССР, писали о том, что делается «там», то есть не создавал собственных философских текстов (нас сейчас интересуют именно они), или же писал в стол, те же, кто писал «там», писал собственные, в основном на религиозные темы, свобода на которые, по Корсакову, не распространялась и в 1920-е годы, или же писал по поводу своего отношения к политике, сиюминутной ситуации, подписываясь собственным именем, ибо уже заслужил свое имя.

Есть одна история, связанная с псевдоименностью, которая сыграла трагическую роль во всяком случае с одним из ее участников. В 1989 г. я написала статью «История с методологией истории», которая была опубликована в «Вопросах философии» и где только не была перепубликована! Даже в Австралии! Я тогда шутила, что если я не состоюсь как философ, то останусь в благодарной памяти человечества как популяризатор идей сектора методологии. Но уже после смерти Гефтера, в 1999 г. в журнале «Отечественная история» появились страницы из дневников историка С.С.Дмитриева, где он рассказывал о чудовищной истории, одним из героев которой был Михаил Яковлевич. Судя по всему эта история все время жгла Гефтера, ибо когда Глеб Алексеев с номером этого журнала вошел к Рахили Самойловне, она тут же выдохнула: «Дмитриев?» И этот ожог, и страшная память сразу многое объяснили в поведении Гефтера. У него был друг, который, будучи однажды арестованным за диссидентскую деятельность, прилюдно покаялся в этом, выступив по телевидению. То, что эта иезуитская политика КГБ, заставлявшая людей поносить себя, была отвратительна, с этим не спорил никто, но те, кто выстоял практически в неравной борьбе, от

невывоженных отстранялись, поскольку считалось, что никто никого не заставлял входить в то дело, которое ты не мог защитить. В секторе Михаила Яковлевича работала будущая диссидентка Лина Борисовна Туманова, которая и в тюрьме не сдавалась, хотя была тяжело больным человеком. Михаил Яковлевич именно от меня узнал о Лининой двойной трагедии: болезни и аресте. Когда ее выпустили (реально — чтобы умереть на воле), я привезла его на дачу к Библеру, где несколько дней после тюрьмы жила Лина, то он ей, к тому времени еще более закаленной и способной на самые невероятные трудности (например, на голодание или уринотерапию, поскольку она отказалась от лечения), сказал, что на таких, как она и его «молодой друг», держится земля.

Она оскорбилась.

Вторично он увидел ее лишь на похоронах: к ней в дом он вошел утром, один, тяжело страдающий человек. Я полагаю, что эта «обмолвка» была следствием того его псевдопоступка с псевдоименностью, и полученная рана болела всю жизнь.

В 1949 г. М.Я.Гефтер и А.Я.Грунт под русскими псевдонимами Р. Самойлов (по отчеству своей жены Рахили Самойловны Горелик) и А.Громов раскритиковали «Хрестоматию по истории СССР» академика М.Н.Тихомирова и преподавателя исторического факультета МГУ С.С.Дмитриева, обвиняя их в буржуазном объективизме, забвении принципа партийности в науке, отступлении от марксистской идеологии и пр. и пр. Зачем это было сделано? Участников этой истории (с обеих сторон) уже нет в живых. Что руководило первыми — теперь можно только угадывать, не исключено, что мотивом взятия псевдонимов было желание оградить себя от подозрения в националистическом оттенке этой акции: негоже было евреям обвинять русских. Но их именно так и поняли «те, кому надо»: после такой статьи русские по национальности уже спокойно обвиняли в космополитизме евреев (с этого и началось дело против космополитов в 1949 г.). Дмитриев же считал, что написано это было, чтобы «отвести от себя удар»⁶.

Когда-то созданная система анти-языка, система слов-заместителей (говорит тот, кто на деле иной) работала с поразительной силой. Была загублена карьера Дмитриева, и он до конца дней «болел» этой историей. Возникло травматическое состояние у Гефтера: хотя к концу своих дней он стал заведовать великолепным им созданным сектором методологии истории, разогнанным в 1968 г., затем аутсайдером-диссидентом, идейным вдохновителем журнала «Поиски», организатором первого в России Конгресса, посвященного Холокосту, он всегда испытывал горечь переосмысления.

Когда я написала статью «История с методологией истории, или Конец истории», я имела в виду не конец истории в духе Фукуямы, а тот конец сектора методологии, который для меня доподлинно наступил после того, как я узнала о грехопадении Гефтера.

6 См. об этом в моей книге «Точки на зрении» (СПб., 2005) на с.18 – 21.

Однако этот фрагмент не перепечатали нигде. Возможно, кому-то нужны незапятнанные герои. Но герою не страшны падения. Гефтер свое диссидентство выстрадал.

Псевдонимность и самозванство – искривляло ли это нашу историю, или это свойство именно истории России? Когда наши молодые коллеги критикуют нашу философию, они ее критикуют не с той стороны: они ее критикуют не за перевертыши псевдоименности, а за то, что мы поднимали не те темы, что мы были слабы и мало компетентны в западной философии. Но философия – дело философа, а не нации или государства, каким бы оно ни было. Можно, конечно, ухмыляться, что вот-де Германия дала Хайдеггера и Ясперса, Франция - Сартра, Фуко, Делеза, Дерриду. Но можно и иначе посмотреть на дело. *Марксистская страна плохо знала и замалчивала Маркса в отличие от немарксистских стран, хорошо его изучивших.* (Я помню, как Ю.Л.Бессмертный язвительно говорил, что мы посылаем на конференции на Запад учить марксизму тех, кто знает его лучше нас). Почему? Каковы были принципы такого странного марксистского социализма? Сидел Любищев и писал об этих принципах - о них никто не знает и ими до сих пор никто не интересуется. Но язвительность и ирония появились снова, только уже не со стороны своих, а со стороны не нюхавших этого социализма. Между тем великая западная философия, Хайдеггер прежде всего, заново поставила вопросы о бытии, а не о сущем. К.Михальский, анализируя проблемы времени у Гуссерля и Хайдеггера, считал, что Sein соответствует даже не бытию, а бытью. Бытие – это Seiende. Хайдеггер писал в то время, когда философия не то что бытия – самого бытия в нашей стране была замещена идеологией, когда налаживался как раз новый быт. Но именно этим самым бытом в 10-е годы XX в. были озабочены философы и историки «школы Гревса», разогнанной после революции: дворяне-кадеты представляли опасность для новой власти. Почти сразу после войны, в 50-е годы, а тем более в 60-е годы наша философия отчасти рассеялась по естественнонаучным и гуманитарным отсекам. В этом смысле интересно просмотреть списки сотрудников Института истории естествознания и техники АН СССР, а затем РАН, где в разные годы трудились выброшенные из гуманитарных наук, например, Е.Ч.Скржинская, ученица Гревса и Добиаш-Рождественской, или в поздние годы А.П.Огурцов и П.П.Гайденко, начавшие работу в области естествознания. Долгое время литературоведом представляли М.М.Бахтина. Множество философских проблем «ушло» в структурализм («Слова и вещи» М.Фуко вышли в издательстве «Прогресс» в 1977 г. в редакции по истории научного коммунизма, которой руководил философ и журналист Л.В.Карпинский⁷), методологию истории (где

⁷ В этой редакции со страшным названием, кстати, готовились книги А.Янова о К.Леонтьеве, «Язык, знак, культура» М.К.Петрова, вышли в переводе на английский язык сборник статей «Наука и нравственность» с более чем вдвое увеличенной статьей А.С.Арсеньева, которую я отстаивала, выдержав грозный окрик одного из редакторов русского

работали Библер, А.С.Арсеньев, Л.Б.Туманова, примкнувшая к ним я, И.К.Пантин, Б.Ф.Поршнев) и теорию и историю культуры (те же Библер и К0), в искусствознание и психологию искусства и прикладного искусства, но и среди прочих гуманитариев намечался крен в сторону философского осмысления своих оснований.

Ю.М.Лотман, законодатель российского структурализма, понимавшегося как теория соотношения элементов, в которой человек понимался как функция такой системы, никогда, как можно обнаружить даже по простому перечню вышедших книг, не ограничивался только семиотикой, подключая ее к теории моделирования и к конкретно-историческим исследованиям культуры. Это позволяло ему ввести в структурализм то, что называл «научной психологией исследователя». Для законодателя структурализма оказалась востребованной идея дополнительности для своих изысканий. И хотя в начале своей научной деятельности (до 1960 г.) он, как огромное число гуманитариев, негативно относился к философии и к теории, уже в 1960 г. стал читать теоретический курс по структуральной поэтике («Лекции по структуральной поэтике» вышли в 1964 г.). Методология, о которой иногда с презрением отзываются некоторые молодые философы, стала своего рода заместителем философии. Лотман считал семиотику методом гуманитарных наук, считая, что в один и тот же предмет может включаться как семиотический, так и несемиотический путь. Разумеется, в семиотике видели своего рода отмычку, благодаря которой «всё, привлекающее внимание исследователя-семиотика, семиотизируется в его руках»⁸.

Критика семиотики началась почти сразу же по ее возникновении. В начале 70-х гг. XX в. Ж.Женетт, двухтомник которого «Фигуры» вышел в 1972 г., а в переводе на русский в 1998-м, писал, что вообще «структурализм никогда не царствовал»; и я даже скажу больше <...> он никогда и не станет царствовать, потому что сами структуралисты

издания, относившийся к тому, что против статьи Арсеньева выступали-де в ЦК КПСС, и книга И.К.Пантина о русской демократической мысли. Вышли бы и остальные (либеральный директор издательства Торсуев, друг Карпинского, его соратник по ЦК ВЛКСМ, этому способствовал), но Карпинский уже тогда был озабочен тем, как переустроить Россию, и с группой единомышленников, среди которых были Карякин и Бурлацкий, создавали что-то вроде теневого кабинета министров, за что их поймали, но не арестовали, а исключили из партии, сняли с работы, расформировав редакцию, в составе которой были бывшие сотрудники тоже реформированного Института конкретных социальных исследований Д.Ханов, редактор (именно он, а не О.И.Попов, как написано в выходных данных книги) «Слов и вещей» Фуко, и Т.Б.Любимова, одна из ближайших сподвижниц Ю.А.Левады, ныне доктор философии в Институте философии РАН. Я в результате реформирования редакции попала с помощью в свое время отсидевшего семилетний срок в лагере за выступление против советского вмешательства в венгерские события и только входящего в силу философа Э.Г.Юдина во всесоюзный отстойник опальных или проштрафившихся философов и искусствоведов Институт технической эстетики, где в других отделах работали Ю.В.Зинченко, О.И.Генисаретский и мн. др..

⁸ Лотман Ю.М. Внутри мыслящих миров. Человек – текст – семиосфера – история. М., 1996. С. 5 – 6.

уже перестали обозначать себя таким образом»⁹. Но это – во Франции. У нас – это была одна из отдушин. Она оставалась долго. Я помню, как в 1992 г. в РГГУ ко мне подходили студенты и говорили: когда-то был марксизм, теперь структурализм. И я сейчас не обсуждаю справедливость этих претензий. Я лишь подчеркиваю долгосрочность существования у нас этого направления.

Правда, идеологи кричали свое «против» со страниц главных изданий, а серьезные философы – только в личных письмах, или, если в рецензиях, то маскировали критику похвалой, избегая жестких оценок. Так, писал А.Ф.Лосев, подчеркивавший «насущную нужду в строгом логическом исследовании того, что понимается под моделью и структурой», которое «избавило бы тартусские исследования от методологической пестроты и терминологического разнобоя»¹⁰. О том же писал Л.Н.Столович. Библер считал семиотику введением в философию и теорию культуры. После сказанного странно, что многие современные исследователи считают семиотическим аж средневековую философию, словно забывая, что Бог – не знак и не семиотизировался даже в руках исследователя. Бога нет, если под Богом понимать знаки «Б», «о», «г», и в таком случае безумца из Псалтири, утверждавшего, что «нет Бога», можно считать правым. Так, во всяком случае, считал Ансельм Кентерберийский.

Однако, как отмечает совершенно справедливо Столович, несмотря на «дистанцированность семиотики от философии, она проникала в определенном виде» в «семиотическую» среду. «Из года в год <...> повышался философский градус»¹¹ трудов, прежде всего Лотмана. Столович цитирует Пятигорского, одного из постоянных участников Тартуской школы: «Поначалу в атмосфере наших собраний витал дух позитивистов и Венского кружка; едва ли кто из нас серьезно считал это нашей или своей философией, но при этом какая-то связь идей московско-тартуской семиотики с идеями, скажем, Карнапа, нами не только ощущалась, но и осознавалась»¹². Столович не исключает, что не только идеология марксизма отвращала семиотиков от философии, но именно внимание к позитивизму, «дух» которого в это время витал в философии. Этот «дух» не позволил структуралистам увидеть союзника в Лосеве, который резко критиковал Венский кружок «за враждебное отношение ко всякой онтологии вообще» (учение Лотмана Пятигорский через некоторое время определит как «культурологический онтологизм»). И это казалось «созвучным официальной разоблачительной борьбе против “буржуазной философии”»¹³.

9 Цит. по: *Женетт Ж.* Фигуры. Т.1. М., 1998. С. 7.

10 Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. Труды по языкознанию. М., С. 234.

11 Столович Л.Н. Воспоминания о Юрии Михайловиче Лотмане. С. 11.

12 Там же. С. 7.

13 Там же. С.10.

Но и со стороны исторической науки наметился двойной крен: от современной «тупой» философии и в сторону свежего философствования, некоторое время не осознаваемого как философия. А.Я.Гуревич начал рассказывать о том, что такое быт в средневековой истории, философии и литературе. Он сместил ось истории, она перестала быть чередой причинно-следственных фактов. Она стала описывать события. Более того, поставила проблему, что такое событие, что такое факт, то есть поставила вопросы, которые в то же время ставила и советская философия, начавшая критику позитивизма, правда, в ином духе: критиковалось понятие факта как чувственно воспринимаемой данности, и доказывалось нагруженность любого факта теоретическим значением. Исторический напор и талант Гуревича был, очевидно, сильнее, и, хотя статьи о проблеме факта выходили в философских журналах, все же вышедший в 1968 г. сборник «Источниковедение» имел широкий резонанс, тем более что в обсуждение проблемы включился – с философской стороны - Библер. Чуть позже в профессиональном журнале «Кибернетика» выходят статьи ученых, занятых структурной лингвистикой, математикой, философией, посвященных тому, что такое загадка. Речь шла не только о содержании или структуре загадки, но и о том, что она такое сама по себе – эта странная, все переиначивающая фигура речи, дающая псевдо-имена вещи. При этом под псевдоименностью понималось уже не только лжеименность, но другое имя одного и того же носителя имени. Хайдеггер написал о псевдонимности и за-ставленности в «Пармениде» в 1942 – 1943 гг. У нас долгое время основания философии на перестановках, подстановках или не замечались, да и слово «перестановка», «трансмутация» не употреблялось, тем более что в ходу были и коллективные псевдонимы (Кукрыниксы, Бурбаки). Но, замечали или нет, это значило, что мы были включены в некий мировой процесс общефилософского созидания, но наша псевдонимность составляла краеугольный камень при подходе к осмыслению этого процесса - через существование в двух природах, через анекдот, умело маскировавший какие-то кромешные события в притворно-дурашливую форму, через взгляды с метафизической, а то и с нигилистической смелостью в чуждую философию, нигде, как Любичев, не находя авторитетов. Забвение этой своей особенности тоже вызывает фантомную боль. Она выражена менее громогласно, чем у тех, кто мечтает восстановить имперские начала, в том числе религиозные, кто мечтает – хуже того – восстановить тоталитаризм. И это первое, что на виду. Этих болей нет у тех, кто только заученно талдычит, как плохо его учат в высшей школе. Иначе анализ показал бы им практику тропологического замещения, заставив определить его начала и проанализировать это философское понятие второй половины XX в., существенно переиначившее содержание самых обыкновенных слов, например, слово «лагерь». Можно представить себе, как

понял бы Цезарь, ставивший лагерь в Галлии, предложение «NN пробыл в лагере с 1943 г. по 1953 г.».

Возврат к понятиям двусмысленности, тропов, о которых Ницше писал, что это свойство обычной речи, обеспечивает понимание способов рассогласованности обозначаемого и обозначающего в разные исторические периоды. Без такого осмысления такие понятия, как «спектакль власти», ее «переодевания», останутся не более, чем объяснительными, но не объясняющими метафорами. В этом смысле возвращение к гуманитарности очень важно. Когда-то она пробила себе дорогу, отличив себя от естественнонаучного способа рассмотрения истории мира. Лирики, долгое время бывшие в загоне, сами пробили себе дорогу почета в отличие от уставших физиков. Мы выше говорили, как Лотману оказалось необходимым понять начала лингвистики. Библер сделал подзаголовком книги «Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры» «На путях к гуманитарному разуму». Смысл этого разума, который Библер считал потенциально «всеобщей формой человеческого разума»¹⁴, выраженного в «идее *одновременного* соположения жизни и искусства, их необходимого вне-находимого бытия, их несводимости друг к другу, но, вместе с тем, и обязательно, их *соединения* в личности, понимающей их “взаимную вину и ответственность”»¹⁵, «когда философия вновь молодела и умнела до неузнаваемости, превращаясь из проблематической дисциплины в исконную дисциплину о проблемах»¹⁶. Это требование к гуманитарии раньше всего осуществляет по отношению к самому себе, как считал Библер, Бахтин, мышление которого, находящее выражение в тексте произведения, — не может быть итоговым. Текст *«по замыслу»* должен быть незавершенным, выходить за свои пределы... должен иметь смысл «ответа» на *иной* текст, - «вопроса» к иному тексту»¹⁷.

Но вот что любопытно.

Библер писал в 1991 г.: «Понятие “мышление” правильно звучит как всеобщий атрибут “человека вообще”, — без персональной закреплённости. Но, в крайнем случае, наш слух согласен на “мышление эпохи”, “мышление, характерное для какой-то отдельной культуры”, или что-то еще в этом роде... Но — “мышление Бахтина”? Или — даже — “мышление Ньютона”, “мышление Эйнштейна”? “мышление Канта”? Ведь это — абсурд. Нет у Канта особого “мышления”, можно лишь говорить, к примеру, — об особой степени развития (“в Канте...”) общечеловеческого мышления, об его особой направленности, особой точке приложения, особом методе решения тех или иных логических трудностей, наконец, — о тех “произведениях” или сферах знания, в которых

14 Библер В.С. Михаил Михайлович Бахтин, или Поэтика культуры. На путях к гуманитарному разуму. М., 1991. С.168.

15 Там же. С.12.

16 Там же. С.16.

17 Там же. С.62.

по-особенному воплотилась реальная работа кантовской мысли: “Критика чистого разума”, “этическая теория Канта”... и т. д.»¹⁸.

Но вот что утверждает в 2011 г. Г.Б.Гутнер в статье, посвященной обоснованиям философии. «Современная философия характеризуется чрезмерной сложностью аппарата. Чуть ли не любое слово, используемое тобой, оказывается многозначным термином, использование которого требует многочисленных ссылок на предшествующие употребления. Философская работа подчас превращается в пересказ чужих идей: не высказав отношения к ним, философ не имеет права говорить свое. Таким образом, философский текст оказывается перегружен перечислением имен, направлений, теорий и пр. Трудность усугубляется тем, что «сказать свое» практически невозможно. Просмотр публикуемых философских работ убеждает в том, что подавляющее большинство их посвящено критике, анализу, сопоставлению или просто пересказу чужих идей. Для современного философа естественно не исследовать предмет, а выяснять, как этот предмет исследовался прежде. Еще несколько десятилетий назад, отвечая на вопрос «Чем вы занимаетесь?» философ мог сказать, например, «теорией речевых актов», «трансцендентальным обоснованием знания», «проблемой следования правилу в коммуникации». Теперь же, называя соответствующий предмет, он непременно должен добавить имя или название школы: «теорией речевых актов у Сёрля», «трансцендентальным обоснованием знания у Гуссерля», «проблемой следования правилу в коммуникации у Витгенштейна». В противном случае будет поставлена под вопрос его компетентность»¹⁹. Это значит, что определение гуманитарности, данное Библером, не ее предощущение, а вступление в силу.

Это тоже фантомная боль, но гуманитарность показала, что отрезанный орган можно усилием мысли отрастить. Петров даже говорил: нарастить пиратским способом!

Если вернуться к статье Корсакова, то заслуживает внимания упоминание о том, что в Институте философии в 1931 – 1932 гг. «господствовал так называемый бригадный метод: создавались исследовательские бригады под ту или иную задачу, признанную актуальной» (с.123). Я, по правде говоря, не вижу большой разницы между словом «бригада» и «группа», как это принято называть сейчас. Разве что в слове «бригада» сильнее военный оттенок (комбриг!). Создание современных «групп», да еще нацеленных на освещение в СМИ, – это тоже фантомная боль души, жаждущей признания властью или во всяком случае того, «чтобы, - как иногда говорилось в дружественной мне семье, - было тихо».

18 Там же. С.63.

19 Гутнер Г.Б. Заметки о современной философии, или может ли философия стать, наконец, наукой? // Философские акции. М., 2011. С.112.